



# СЕРГЕЙ ЕСЕНИН



Эта жизнь мне  
только снится

Я такой же, как вы,  
пропащий

**Э К С К Л Ю З И В Н Ы Е   Б И О Г Р А Ф И И**

Эксклюзивные биографии

Сергей Есенин

**Эта жизнь мне только снится**

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-94  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

**Есенин С. А.**

Эта жизнь мне только снится / С. А. Есенин — «Издательство АСТ», — (Эксклюзивные биографии)

В книгу вошли воспоминания Сергея Есенина о своем детстве и юности, а также воспоминания его коллег-поэтов, друзей, знакомых. Среди них знаменитости – Блок, Маяковский, Цветаева, и менее значительные персоны, которые оставили после себя интереснейшие воспоминания о встречах с Есениным. Они приоткрывают перед нами тайну одного из самых талантливых и загадочных русских поэтов.

УДК 821.161.1-94  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

© Есенин С. А.  
© Издательство АСТ

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Сергей Александрович Есенин       | 6  |
| Андрей Белый                      | 8  |
| Владимир Маяковский               | 10 |
| Галина Артуровна Бениславская     | 12 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 17 |

**С.А. Есенин**  
**Эта жизнь мне только снится**

© ООО «Издательство АСТ»

## Сергей Александрович Есенин

### О себе

*Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. – М.: Наука; Голос, 1995–2002. С. 18–20.*

Родился в 1895 году, 21 сентября, в Рязанской губернии. Рязанского уезда, Кузьминской волости, в селе Константинове.

С двух лет был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство. Дядя мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо лазил по деревьям. Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!» Бабушка любила меня изо всей мочи, и нежности ее не было границ. По субботам меня мыли, стригли ногти и гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом и даже теперь какое-то неприятное чувство имею к субботе.

Так протекало мое детство. Когда же я подрост, из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось.

Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16–17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунце».

Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург. Там меня приняли весьма радушно. Первый, кого я увидел, был Блок, второй – Городецкий. Когда я смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз видел живого поэта. Городецкий меня свел с Клюевым, о котором я раньше не слышал ни слова. С Клюевым у нас завязалась, при всей нашей внутренней распри, большая дружба.

В эти же годы я поступил в Университет Шанявского, где пробыл всего 1,5 года, и снова уехал в деревню.

В Университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филиппченко.

Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев. Белый дал мне много в смысле формы, а Блок и Клюев научили меня лиричности.

В 1919 году я с рядом товарищей опубликовал манифест имажинизма. Имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.

От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции.

С восьми лет бабка таскала меня по разным монастырям, из-за нее у нас вечно ютились всякие странники и странницы. Распевались разные духовные стихи. Дед, напротив, был не дурак выпить. С его стороны устраивались вечные невенчанные свадьбы.

После, когда я ушел из деревни, мне долго пришлось разбираться в своем укладе.

В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном.

В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину.  
Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах.

*Октябрь 1925*

## Андрей Белый

### Из воспоминаний о Сергее Есенине

*О Есенине. Стихи и проза современных писателей. – М.: Правда, 1990.*

Мне очень дорог тот образ Есенина, как он вырисовался передо мной. Еще до революции, в 1916 году, меня поразила одна черта, которая потом проходила через все воспоминания и все разговоры. Это – необычайная доброта. Необычайная мягкость, необычайная чуткость и повышенная деликатность. Так он был повернут ко мне, писателю другой школы, другого возраста, и всегда меня поражала эта повышенная душевная чуткость. Таким я видел его в 1916 году. Таким я с ним встретился в 18–19 годах, таким, заболевшим, я видел его в 1921 году, и таким был наш последний разговор до его трагической кончины. Не стану говорить о громадном и душистом таланте Есенина, об этом скажут лучше меня. Об этом много было сказано, но меня всегда поражала эта чисто человеческая нота. Когда я впоследствии встречал Есенина и в нетрезвом виде, я наталкивался на тоже проявление застенчивости, но оно бывало иной застенчивостью. Я говорю о тоне наших отношений, как о характеристической черте, как он относился к людям, когда они подходили, ну, просто с человеческими чувствами...

Расхождение с Клюевым было огромным этапом в жизни Есенина, который оставил неизгладимый след у этого юноши с чуткой и очень нежной душой.

Помнится мне, как Есенин появился в Москве. Это было весной 1918 года. Клюевщина и вот этот бытовой уклад тысячелетней деревни были за плечами. Тогда его бывшие друзья меня предупреждали, что у Есенина появились тревожные симптомы, нервная расшатанность и стала появляться, как исход, как больные искания, склонность к вину, и просили обратить внимание. Но что я мог сделать, не мог же я ходить по его следам и говорить все время, что не надо этого и не надо того. И образ Есенина стоял передо мной постольку, поскольку краска его идеологии и мотивы его поэзии менялись. Он то отходил от меня, то приближался. Я всегда в наших отношениях играл пассивную роль. Вдруг он начинал появляться, вдруг исчезал. И в исчезновении, и в появлении его всегда сопровождала та же нота необычной чуткости, деликатности, и доброты, и заботы. Он всегда осведомлялся, если у человека то-то и то-то, как он живет, – это меня всегда трогало. Помню наши встречи и в период, когда я лежал на Садово-Кудринской. Пришел Есенин, сел на постель и стал оказывать ряд мелких услуг. И произошел очень сердечный разговор, о котором упоминать нет никакого смысла, потому что разговор человека с человеком не вспоминаем.

Вскоре потом я его встретил в Пролеткульте, где я в то время был преподавателем и в это время там жили Клычков и Есенин. У Есенина не было квартиры, и он там ютился. И очень часто, после собрания, мы собирались в общую комнату, заходили к Клычкову и видели жизнь и быт Есенина. Я, хотя человек посторонний в Пролеткульте, наблюдал эту роль развернувшихся взаимоотношений Есенина с другими, которые не всегда были мне в то время симпатичны, и должен сказать, что он ждал чего-то хорошего от лозунга «смычки с деревней», но отчаялся, этого в Пролеткульте того времени не было...

В результате случилось, что Есенин исчезает из Пролеткульта, для того чтобы потом объявиться в цилиндре. Ну, Есенин и цилиндр. Этот быт разлагающе действует на Есенина. Видя его мечущимся от одной группы к другой, я всегда на него глядел и думал: вот человек как будто чем-то подшибленный. И понятны все эти метания, все эти жесты, которые нарастали на его имени, но в чем он не был повинен. И понятно психологически, когда человека с такой сердечной жестокостью обидели, то его реакция бурная, его реакция – вызов. Я, например, видел его и в очень трезвом виде, и в очень повышенном, и очень больном. В разные периоды по-разному, то был он в полушубке, гордящимся своей крестьянской жизнью, то в цилиндре,



чуть ли не в смокинге, в виде блестящего денди, но и здесь и там, и в трезвом и в повышенном состоянии он неизменно проявлял ту же деликатность. И я, глядя на него и зная его репутацию в некоторых кругах, всегда удивлялся. Что может довести Есенина до скандала – что-нибудь что-то очень грубое, что этого мягкого сторонящегося человека доводит до скандалов. Может быть, я не прав, но Есенина другого не знаю. Не видел его иным. Я видел чуткого, нежного юношу.

Я думаю, что в Есенине была оскорблена какая-то высшей степени человеческая человечность, потому что поэт, товарищи, есть наиболее социальное существо, наиболее протянутое, но только поэт – это есть существо от сердца к сердцам, и хорошо это или дурно, может быть, в этот момент во мне говорит романтика, но каждый образ, если он художественный – это итог происшедшего процесса сгорания, куда человеческая любовь входит и где в силу закона энергии переплавляется все. И как можно к этому продукту сердец относиться с точки зрения сухого ученого. И вот наряду со всем у всех периодов, у всех народов, у всех политических кругов мало изменить социальные условия поэта. Поэт в социалистической стране только и попадает в ту атмосферу, в которую он протягивает нить, ибо он есть рупор коллектива...

Но пришло время точно определить, насколько осуществил в этой социальной области свой заказ Есенин. Несомненно: то, что создала его душистая песня, это осмыслится тогда, когда приедем к конкретизации каждого данного случая во всем и прежде всего в искусстве, потому что искусство – такой тонкий аппарат, построенный на сердцах...

Есенин является перед нами с действительно необычайно нежной организацией, и с ним нужно было только уметь обойтись. И когда он ушел из жизни, я виноват в том, что вместо того, чтобы способствовать его оздоровлению, я, можно сказать, не приложил ничего к тому, чтобы ему помочь.

1928

## Владимир Маяковский Как делать стихи?

*Отрывок из статьи «Как делать стихи?» // С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 358–360.*

Есенина я знал давно – лет десять, двенадцать.

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубаше с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штiblеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежды:

– Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

– Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

– Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

– Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задираться.

Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей... и т. д.

Небо – колокол, месяц – язык... и др.

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя родина,  
Я большевик...

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник. Не молоконосной корове а-ля Сосновский, а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз.

Мы ругались с Есениным часто, кроя его главным образом за разросшийся вокруг него имажинизм.

Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.

К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых (я говорю о минимуме, который от поэта требуется) работников поэзии.

В эту пору я встречался с Есениным несколько раз, встречи были элегические, без малейших раздоров.

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленного Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помаживанием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья – есенинцы.

Оказалось не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрасеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,  
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

1926

## Галина Артуровна Бениславская Воспоминания о Есенине

*С.А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. (Лит. мемуары) / Вступ. ст., сост. и коммент. А. Козловского. – М.: Худож. лит., 1986. С. 49–66.*

1920 г. Осень. «Суд над имажинистами». Большой зал Консерватории. Холодно и нетоплено. Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят и переругиваются из-за мест (места нумерованные, кто какое займет). Нас целая компания. Пришли потому, что сам Брюсов председатель. А я и Яна – еще и голос Шершеневича послушать, очень нам нравился тогда его голос. Уселись в первом ряду. Но так как я опоздала и место занятое для меня захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева, перед креслами первого ряда.

Наконец на эстраду выходят. Подсудимые садятся слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и еще кто-то.

Есенина видела я в первый раз в жизни в августе или сентябре в Политехническом музее на вечере всех литературных групп. Кто-то читал стихи, и в это время появились Мариенгоф и Есенин в цилиндрах. Есенину цилиндр – именно как корове седло. Сам небольшого роста, на голове высокий цилиндр – комичная кинематографическая фигура.

Почти сразу же чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот ведь нахал какой, добро бы Шершеневич – у того хоть такая заслуга, как его голос. А этот мальчишка, поэтишка какой-нибудь. С возмущением сажусь вполоборота, говорю Яне: «Вот нахал какой».

Суд начинается. Выступают от разных групп: неоклассики, акмеисты, символисты – им же имя легион. Подсудимые переговариваются, что-то жуют, смеются. (Я на ухо Яне сообщила, что жуют кокаин; я тогда не знала, что его – нюхают или жуют.) В их группе Шершеневич, Мариенгоф, Грузинов, Есенин и их «защитник» – Федор Жиц. Слово предоставляется подсудимым. Кто и что говорил – не помню, даже скучно стало. Вдруг выходит тот самый мальчишка: короткая, нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову и стан, начинает читать.

Плюйся, ветер, охалками листьев, —  
Я такой же, как ты, хулиган.

Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина признаться удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль – разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.

Думается, это порыв ветра такой с дождем, когда капли не падают на землю и они не могут и даже не успевают упасть.

Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.

Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.

Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесется неведомо куда.

Нет. Это Есенин читает «Плюйся, ветер, охалками листьев...». Но это не ураган, безобразно сокрушающий деревья, дома и все, что попадает на пути. Нет. Это именно озорной,

непокорный ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган».

Потом он читал «Трубит, трубит погибельный рог!..».

Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь». И через несколько минут, подойдя, уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал еще раз «Плюйся, ветер...».

Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня.

Когда Шершеневич сказал, что через полторы недели они устраивают свой вечер, где они будут судить поэзию, я сразу решила, что пойду.

Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском-полухулиганском костюме, в его позе и манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще.

А он вернулся на то же место, где сидел, и опять тот же любопытный и внимательный, долгий, так переглядываются со знакомыми, взгляд в нашу сторону. Мое негодование уже забыто, только неловко стало, что сижу так на виду, перед первым рядом.

Эти полторы недели прошли под гипнозом его стихов.

Второй вечер был в Политехническом музее. Тоже не топлено, и тоже молодая, озорная, резвая публика, тоже нумерованные места. Первые ряды захватили те, кто пришел в 6 часов вечера, за два часа до начала.

Всего вечера я уж не помню. С этих пор на всех вечерах все, кроме Есенина, было как в тумане. Помню только, как во время суда имажинистов над современной поэзией из зала раздался зычный голос Маяковского о том, что он кое-что знает о незаконном рождении этих эпигонов футуризма (что-то в этом роде). Через весь зал шагнул Маяковский на эстраду. А рядом с ним, таким огромным и зычным, Есенин пытается перекрычать его: «Вырос с версту ростом и думает, мы испугались, – не запугаешь этим». В конце вечера Сергей Александрович читал стихи, кажется, «Исповедь». Читал так же, как и первый раз. Он раньше, до «Страны негодяев», читал всегда с буйством, с порывом. <...>

В Политехническом музее объявлен конкурс поэтов.

Я и Яна ждем его с нетерпением. Пришли на вечер, заняли наши места (второй ряд, посередине).

Наивность наша в отношении Есенина не знала пределов. За кого же нам голосовать? Робко решаем – за Есенина; смущены, потому что не понимаем – наглость это с нашей стороны или мы действительно правы в нашем убеждении, что Есенин первый поэт России. Но все равно голосовать будем за него.

И вдруг – разочарование! Участвует всякая мелюзга, а Есенин даже не пришел. Скучно и неинтересно стало. Вдруг поворачиваю голову налево к входу и... внизу у самых дверей виднеется золотая голова! Я вскочила с места и на весь зал вскрикнула:

– Есенин пришел!

Сразу суматоха и переполох. Начался вой: «Есенина, Есенина, Есенина!» Часть публики шокирована. Ко мне с насмешкой кто-то обратился: «Что, вам про луну хочется послушать?» Огрызнулась только и продолжала с другими вызывать Есенина.

Есенина на руках втащили и поставили на стол – не читать невозможно было, все равно не отпустили бы. Прочел он немного, в конкурсе не участвовал, выступал вне конкурса, но было ясно, что ему и незачем участвовать, ясно, что он, именно он – первый. Дальше, как и обычно, я ничего не помню.

Я и Яна идем мимо лавки на Никитской. Прошли. Яна, взглянув в окно, увидела, что там Есенин без шапки, в костюме. Нечаянно я оглядываюсь на улице: за нами – Есенин, идет без шапки, со связкой книг. Мы несколько дней его не видели. Яну он не узнал. Пришлось знакомить вторично.

– Ну, как живете, что делаете?

И я, вероятно от смущения, отвечаю:

– Ничего, за билетами на концерты ходим.

Только когда почувствовала толчок Яниным локтем, поняла, что сморозила глупость.

Заговорили о критике. Сергей Александрович очень интересовался статьями о литературе в зарубежных газетах. Яна обещала ему доставать. Больше всего интересовался статьями и заметками о нем самом и об имажинистах вообще. Поэтому я и Яна доставали ему много газет. Я добывала в информационном бюро ВЧК, а для этого приходилось просматривать целые комплекты «Последних новостей», «Дня» и «Руля».

И с того дня у меня в «Стойле» щеки всегда как маков цвет. Зима, люди мерзнут, а мне хоть веером обмахивайся. И с этого вечера началась сказка. Тянулась она до июня 1925 года. Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль – все же это была сказка. Все же это было такое, чего можно не встретить не только в такую короткую жизнь, но и в очень длинную и очень удачную жизнь.

Как-то раз Яна достала какие-то газеты. Передали их Есенину. (Мы по-прежнему всегда ходили вместе – таким образом легче было скрыть правду наших отношений к Сергею Александровичу.) Заходим за этими газетами. Оказывается, Мариенгоф передал их Шершеневичу. Мы рассердились, так как газеты были нужны. Есенин погнал Мариенгофа к Вадиму Габриэлевичу. Потом оделся и вместе со мной и Яной пошел туда же.

Это был первый ласковый день после зимы. Вдруг всюду побежали ручьи. Безудержное солнце. Лужи. Скользко. Яна всюду оступается, скользит и чего-то невероятно конфузится; я и Сергей Александрович всю дорогу хохочем. Весна – весело. Рассказывает, что он сегодня уезжает в Туркестан. «А Мариенгоф не верит, что я уеду». Дошли до Камергерской книжной лавки.

Пока Шершеневич куда-то ходил за газетами, мы стоим на улице у магазина. Я и Яна – на ступеньках, около меня – Сергей Александрович, подле Яны – Анатолий Борисович. Разговариваем о советской власти, о Туркестане. Неожиданно, радостно и как будто с мистическим изумлением Сергей Александрович, глядя в мои глаза, обращается к Анатолию Борисовичу.

– Толя, посмотри, – зеленые. Зеленые глаза!

Но в Туркестан все-таки уехал – подумала я через день, узнав, что его нет уже в Москве. Правда, где-то в глубине знала, что теперь уже запомнилась ему.

С тех пор пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи, то в лавке, то на вечерах, то в «Стойле». Я жила этими встречами – от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Поэтому каждый вечер был двойной радостью: и стихи, и он. <...>

Точная копия записки Сергея Александровича:

«Юбилей Есенина.

10-го декабря исполняется 10 лет поэтической деятельности Сергея Есенина. [Союз] Всероссийский союз поэтов, группа имажинистов и [группа Росс] группа писателей и поэтов из крестьян ходатайствуют перед Совнаркомом о почтении деятельности...»

Списано с поправками, сделанными им же самим (его почерком).

Это было в декабре (может, в конце ноября) 1923 г. Сергей Александрович в «Стойле» рассказывал друзьям – 10 декабря десять лет его поэтической деятельности. Десять лет тому

назад он первый раз увидел напечатанными свои вещи. Сам даже проект записки в Совнарком составил.

Придя домой, рассказывал, что Союз поэтов и пр. собираются организовать празднование юбилея. Мы (я, А. Назарова и Яна) отнеслись очень сдержанно к этой идее – мне было ясно, что у нас, как, впрочем, и на всей планете, венчают лаврами только «маститых», когда из человека уже сыплется песок. Сергей Александрович стал с раздражением доказывать свое право на чествование.

– А, да. Когда умрешь, тогда – памятники, тогда – чествования, тогда – слава. А сейчас я имею право или нет... Не хочу после смерти, на что тогда мне это. Дайте мне сейчас, при жизни. Не памятник, нет. Пусть Совнарком десять тысяч мне даст. Должен же я получать за стихи.

Наше молчаливое отношение его очень сердило. Пару дней поговорил. Потом никогда не вспоминал о своем юбилее.

В делах денежных после возвращения из-за границы он очень запутался (недаром к юбилею он именно денег ждал от Совнаркома). Иногда казалось, что и не выпутаться из этой сети долгов. Приехал больной, издерганный. Ему бы отдохнуть и лечиться, а деньги только из «Стойла». <...> По редакциям ходить, устраивать свои дела, как это писательские середняки делают, в то время он не мог, да и вообще не его это дело было.

Часто говорят про поэтов – «он не от мира сего», и при этом рисуется слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса – в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. Знаю одно – Сергей Александрович не был таким слащавым мечтателем с неземными глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою психику на другой регистр.

Говорят, пишут, вспоминают про него – какой он был хитрый, изворотливый, как умел войти в душу все сильного редактора, издателя и пр. Но при этом забывают случаи, когда Сергей Александрович пасовал, неудачно отстаивал свои интересы, как, например, с продажей своих сочинений Госиздату, когда он, почти не глядя, собирался подписать договор и только благодаря сестре Екатерине Александровне и поэту Наседкину (в этом отношении очень практичному и бывалому) получил от Госиздата 10 тысяч вместо 6 тысяч, на которые он уже почти согласился.

Такая же история была с «Анной Снегиной» (или «Персидскими мотивами» – точно не помню). Я условилась с частным издателем И. Берлиным продать ему эту вещь за 1000 рублей. Предупредила об этом Сергея Александровича. Пришел Берлин к Сергею Александровичу и опять завел разговор об этом издании. В конце разговора предлагает за книжку не 1 тысячу рублей, а всего 600 рублей. И Сергей Александрович робко, неуверенно и смущенно соглашается. Пришлось вмешаться в разговор и напомнить о том, что уже условлено за эту вещь 1000 рублей. Тогда Сергей Александрович неопределенно заявляет:

– Да, мне все-таки кажется, что шестьсот рублей мало. Надо бы больше!

Выпроводив поскорее Берлина, чтобы переговоры о гонораре вести без Сергея Александровича, возвращаюсь в комнату.

– Спасибо вам, Галя! Вы всегда выручаете! А я бы не сумел и, конечно, отдал бы ему за шестьсот. Вы сами видите – не гожусь я, не умею говорить. А вы думаете, не обманывали меня? Вот именно, когда нельзя – я растеряюсь. Мне это очень трудно, особенно сейчас. Я не могу думать об этом. Потому и взваливаю все на вас, а теперь Катя подросла, пусть она занимается этим! Я буду писать, а вы с Катей разговаривайте с редакциями, с издателями!

Одно он знал и понимал: за стихи он должен получать деньги. Заниматься же изучением бухгалтеров и редакторов – с кем и как разговаривать, чтобы не водили за нос, а выдали, когда полагается, деньги, – ему было очень тяжело, очень много сил отнимало. <...>

Нам пришлось жить втроем (я, Катя и Сергей Александрович) в одной маленькой комнате, а с осени 1924 года прибавилась четвертая – Шурка. А ночевки у нас в квартире – это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате – я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и еще кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатухе на разломанной походной кровати – кто-либо еще из спутников Сергея Александровича или Катя. Позже, в 1925 году, картина несколько изменилась: в одной комнате – Сергей Александрович, Сахаров, Муран и Болдовкин, рядом в той же комнатухе, в которой к этому времени жила ее хозяйка, – на кровати сама владелица комнаты, а на полу: у окна – ее сестра, все пространство между стенкой и кроватью отводилось нам – мне, Шуре и Кате, причем крайняя из нас спала наполовину под кроватью.

Ну а как Сергею Александровичу трудно было с деньгами – этого словами не описать. <...> «Прожектор», «Красная нива» и «Огонек» платили аккуратно. Но в журналы сдавались только новые стихи, а этих денег не могло хватить. «Красная новь» платила кошмарно. Чуть ли не через день туда приходилось ездить (а часто на трамвай не было), чтобы в конце концов поймать тот момент, когда у кассира есть деньги. Вдобавок не раз выдавали по частям, по 30 руб., а долги тем временем накапливались, деньги нужны в деревне, часто Сергей Александрович просил выслать. Положение было такое, что иногда нас лично спасало мое жалованье, а получала я немного, рублей 70. Всего постоянных «иждивенцев» было четверо (мать, отец и две сестры), причем жили в разных местах, родители – в деревне, сестры – в Москве, а сам Сергей Александрович – по всему СССР. <...>

Еще хуже положение было во время пребывания Сергея Александровича в Москве. Расходы увеличивались в десять раз, и мы изнемогали от вечного добывания денег. Вместе с тем было ясно, что это бремя нельзя взваливать на Сергея Александровича. Иногда бывало, у Сергея Александровича терпение лопалось, он шел сам в какую-либо редакцию, но кончалось это плачевно. Нанервничавшись от бесконечного ожидания денег или попав в компанию «любителей чужого счета», он непосредственно из редакции попадал в пивную или ресторан. В конце концов приезжал ночью пьяный и без денег. Вместе с тем уходить и оставлять его одного дома тоже было страшно: зайдет какой-нибудь из этих забулдыг или по телефону вытащит, и не знаешь, в какой пивной или где еще искать.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.